

Журнал ² "Содружества" 1933 №(30)

Вѣра Булич.

А Л М А З Н Ы Я С Л О В А.

/Лирика Ин. Анненскаго/

К 25-лѣтію со дня смерти.

В лучѣ прощальном, запыленном
Своим грѣхом не отмоленным,
Томится День пережитой.

Ин. Анненскій. "Тихія пѣсни".
И если мнѣ сомнѣнье тяжело,
Я у Нея одной молю отвѣта,
Не потому, что от Нея свѣтло,
А потому, что с Нею не надо свѣта.
Ин. Анненскій. "Кипарисовый Ла-
рец".

Удѣлом И. Анненскаго, глубокаго и тонкаго поэта, "последняго из Царскосельских лебедей", по слову Гумилева, - было одиночество и вѣрность себѣ. В пору расцвѣта русскаго символизма, он оставался в сторонѣ от общаго теченія, вѣрный своим исканіям. На его долю не выпало ни шумной славы, ни широкаго признанія, да он и не заботился об этом. В тишинѣ царскосельскаго уединенія рождались его "алмазные слова", и тѣ, кто любят подлинную поэзію, сохраняют их в сердцѣ.

Алмазные слова - острыя, пронзающія, многогранныя, вѣчныя. Алмаз рѣжет стекло, в своих гранях он преломляет луч свѣта разноцвѣтными огнями, он отливается тяжелым кристаллом в глыбинѣ земли от скрытаго жара и безмѣрнаго давленія.

За ту четверть вѣка, которая прошла со смерти Ин. Анненскаго /ум. 30 ноября ст. ст. 1909 г./, его "алмазные слова" не потускнѣли, не затупились: они горят, плѣнают и ранят, и живут с нами. Насыщенные скрытой силой, они разсѣкают "тяжелыя стеклянныя потемки", обнажая душу с ея болью и мечтой, и в своей "волшебной призмѣ" сочетают всѣ цвѣта и оттѣнки от темной алости ианеможенья до "аметистоваго сіянія", мечты о "луче-зарном сіяньи".

"Но алмазные слова даются не даром", говорит Анненскій во Второй книгѣ отраженій. "Перегорѣвшія на медленном огнѣ", они рождаются скупю и рѣдко в сердцѣ, гдѣ "как послѣ пожара ходит удушливый дым", под "накопленным бременем отравленных ночей и грязно-блѣдных дней". Каждое слово выстрадано, выдано из сердца тяжестью муки, и потому вѣско, остро, подлинно.

Источники вдохновенія бывают разные: один творит от полноты жизни, другой от неудовлетворенности. Жизнерадостность любит затѣи и украшенія; печаль, прислушиваясь к голосу совѣсти и помня свой "не отмоленный грѣх", стремится к простотѣ и выразительности. И может быть нѣтъ источников чище и глубже, чѣм страданіе. Неразрѣшимое в жизни, разоблачающее ея безысходность, оно ищет музыкальнаго разрѣшенія и высказывается без лишних слов, без пустого мастерства, претворяя муку в музыку.

"И было мукою для них /для струн/
Что людям музыкой казалось".

"раввѣ-б пѣть, кружась, он перестал /вал в шарманкѣ/
оттого, что пѣть нельзя не мучась..."

Музыка страданія и музыка творчества нераздѣлимы для Анненскаго. И в этих строках выражено не только признаніе мучительности творчества, но и увѣренность в том, что основа творчества - мука, "мука идеала", тоска "по гдѣ-то там сіяющей красѣ"

"Из завѣтнаго фіала
В эти пѣсни пролита,
Но увы! не красота...
Только мука идеала."

Брюсовскому "всему будь холодный свидѣтель" он противопоставляет свою "безнадежно-горячую" молитву к поэзіи. "Да, стоит жить и страдать, говорит Анненскій /Книга отраженій, статья о Бальмонтѣ/, чтобы слышать то, чего не слышат другіе, и чего, может быть, даже нѣтъ, слышать, как говорят ручьи. А ручьи не заговорят для нас, если мы не вынесем пытки и не оправдаем палача - если мы не добудем красоты мыслью и страданіем".

Ни заботы о мастерствѣ, ни поиски новых форм не дают себя чувствовать в самобытной, острой и вѣчно-живой поэзіи Анненскаго. Настолько он неповторимо своеобразен, настолько велика и бережна его любовь к слову и обострено чувство ритма, что мастерства его уже не замѣчаешь, подпадая под очарованіе его поэзіи, и вслушиваясь в музыку, звучащую за словами. И кажется, что главное для него - не столько искусство, сколько самое чудо творчества, претвореніе. Слово, рожденное в страданіи и от страданія, слово выпуклое в своей изобразительной точности, то хрупкое в своей нѣжности, то безпощадное в открытости, полное дыханіем поэта, его болью и тоской по гармоніи, слито с ним органически.

Но я люблю стихи - и чувства нѣтъ святѣй.
Так любит только мать и лишь больных дѣтей.

Иннокентій Федорович Анненскій, филолог-классик, педагог, переводчик "Театра Эврипида" на русскій язык, критик, воссоздатель античнаго міа в русской трагедіи, высоко-культурный и богато-одаренный человек, своеобразный и многосторонній, прятал в жизни свое настоящее лицо под "докучной маской"

Когда на бессонное ложе Откинув докучную маску,
Разсыплются бреда цвѣты Не чувствуя уз бытія,
Какая отвага, о Боже, В какую волшебную сказку,
Какія побѣды мечты Волъется свободное Я!"

Макс. Волошин в своей статьѣ "Лики творчества" /Аполлон

1910 г. / высказывал предположение, что стихи Анненского писались "не в моменты бодрого и творческого под'ема воли, которая ушла цѣликом в другіе работы и труды, а в моменты горестнаго замедленія жизни", и что "лирика отразила только одну эту сторону его души".

Но "работы и труды" - это область "внѣшняго" человѣка, скрывающаго свои чувства под маской знанія, учтивости и ироніи, это область ума и воли, тот долг по отношенію к жизни, который несет на себѣ каждый по мѣрѣ своих сил и дарованій, а "внутренній" человѣкъ поэта раскрывается в лирикѣ, давая нам почувствовать в ней свое "истинное неразложимое Я" / Анненский, Книга отраженій /.

"Там все, что на сердцѣ годами
Пугливо таил я от всѣх".

И развѣ не вводит нас сразу в тайную жизнь цѣломудренно-нѣжной и болѣзненно-чуткой души поэта это восклицаніе:

"О дайте вѣчность мнѣ! И вѣчность я отдам
За равнодушіе к обидам и годам".

В этих словах перед нами весь Анненский, главный нерв его поэзіи. Но именно это взрослое равнодушіе к обидам того "кто постепенно жизни холод с лѣтами вытерпѣть умѣл", не было дано Анненскому. У него был особый дар болѣть душой за все и за всѣх, не только за себя и за человѣка, но и за вещь.

"Развѣ правда не бесспорно прекраснѣе, когда она восстанавливает неприкосновенность обиженному, независимо от его литературнаго ранга, пусть это будет существо самое ничтожное". /Книга отраженій. "Нос" Гоголя /.

Ин. Анненский в своей поэзіи продолжает традиціи русской литературы; его вниманіе привлекает все обиженное и обездоленное в жизни. Ему свойственна трогательная дѣтскость, оживленіе неодушевленных вещей, угадываніе их тайной боли и нѣжность состраданія. От этого в его стихах такая особенная острота боли, воплощенной в новых неожиданных образах, которыми он обогатил русскую поэзію.

Здѣсь и "статуя мира", в которой поэт любит ея обиду

"Особенно, когда холодный дождик сѣет,
И нагота ея безпомощно бѣлѣет",

и старая шарманка, которую "внобит в закатном млѣнны мая", и которая "никак не смеет злых обид", и "желтых два обсѣвочка, распластанных в песок", - одуванчики, которым оборвали стебельки для дѣтской игры, и обида старой куклы /"обиды своей жалчѣй"/, брошенной в водопад на Валлен-Роски для утѣхи туристов, и неживая нарисованная тростинка, которой хочется жить, но у которой "заморозил иней на бумагѣ синей всѣ ея слезинки", и выдыхающійся дѣтскій "шар на ниткѣ темно-алый", который содрогается и изнемогает

"Между старых желтых стѣн,
Доживая горькій плѣн.

...Все еще он тянет нитку
И никак не кончит пытку
В этот сумеречный день".

Равнодушіе к годам было-бы равносильно равнодушію к приближающейся смерти. Но смерть для Анненского "это люк в смрадную тюрьму"

"Будь ты проклята, левкоем и фенолом
Равнодушно-дышащая Дама!"

Дыханіе смерти чувствует Анненский во всем. О смерти говорит ему ночь, напоминая ее "всѣм, даже выпѣвшим покровом", и "Черная весна" - оттепель, тлѣніем снѣгов, и любимые им цвѣты в хрустальной вазѣ, всегда смѣнявшіеся на его письменном столѣ:

"Мы тѣ же, что были, мы тѣ же,
Мы будем, мы вѣчны, а ты?"

И перед лицом смерти чувствует Анненский одно:

"Лишь Ужас в бѣлых зеркалах
Здѣсь молит и поет.
И с поясным поклоном Страх
Нам свѣчи раздает".

Примиренія нѣт. Есть одно сознаніе обреченности:

"А к утру кто-то нам, развѣяв молча сны,
Напомнил шопотом, что мы осуждены"

и сознаніе одиночества:

"А в сердцѣ сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мірѣ оно одиноко,
Как старая кукла в волнах".

Гнетущій мрак обнаженной бездны с ея "страхами и мглами", мрак тютчевской ночи:

... "И человѣкъ, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
На самого себя покинут он,
Упразднен ум и мысль осиротѣла,
В душѣ своей, как в безднѣ погружен,
И нѣт извнѣ опоры, ни предѣла".

Это чувство безпомощности и беззащитности, которое Тютчев испытывал перед лицом ночи, Анненскому внушалось не ночью, которая томила бредом и давала "одуряющее" забвеніе, а днем, "грязно-блѣдным", нудным и мутным днем оттепели, когда снѣжные покровы осквернены черными пятнами тлѣнія и грубо срываются с земли, как отнимаются от души всѣ ея оболоченія

и очарованія. Мучительное "пробужденіе". "Кончена яркая ча-
ра", остается ничѣм не скрытая, не прикрашенная дѣйствитель-
ность - и от нея "страшно и пусто в груди".
Что может дать опору человѣку? Вѣра? Любовь? Но вѣры у
Анненскаго нѣтъ.

... "Никто и ничей,
Утомлен самым призраком жизни,
Я люблюсь на дымы лучей
Там, в моей обманувшей отчизнѣ".

"На самого себя покинутый" человек старается своими
силами разрешить то запутанное, ускользающее и неразрѣшимое,
что называется смыслом жизни.

Гордое одиночество / "я никто и ничей" /, одинокіе поиски
/ "я ощупью иду своей дорогой" /, нежеланіе принять готовую
общую вѣру / "зачѣм мнѣ рай, которым грезят все" /.

Не может и любовь дать опору сердцу, потому что любовь
для Анненскаго в корнѣ своем таит страданье, неосуществи-
мость мечты.

"И осталось в эфирѣ одно
Безнадежное пламя любви".

Любовь это тоже "мука идеала", идеала недостижимаго;
можно только мечтать о "лучезарном слияннѣ", но в дѣйстви-
тельности любовь оказывается или "роковым поединком" Тютче-
ва, "проклятым огнем" / Анненскій /, который обугливает сердце,
или она наполняет "одним дыханьем два паруса лодки одной",
которым не дано "сгорая коснуться друг друга". Любовь без-
надежна, она только яснѣе доказывает человѣческую раздѣлен-
ность и одиночество.

А жизнь - будничная, томительная, однообразная, с нудным
вокальным ожиданьем / "... что-нибудь, но не это..." /, невыра-
зным томленіем, "не отмоленным грѣхом пережитого дня", с
тѣм "нестерпимым однообразіем", которое заставило восклик-
нуть Тютчева:

"О, небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по волѣ,
И, не томясь, не мучась долѣ,
Я просіял-бы - и погас!"

и Анненскаго:

"О, дай мнѣ только миг, но в жизни, не во снѣ,
Чтоб мог я стать огнем, или сгорѣть в огнѣ!"

Анненскій томится по чудесному расцвѣту души, преобра-
женной порывом, и его мучит несоотвѣтствіе между "отвагой" и
побѣдами мечты" и безсиліем повседневности. Жизнь тягостна
не только своим гасящим "нестерпимым однообразіем", но и мно-
гими обидами, из которых самая страшная для гордаго бунтующа-
го человѣческаго "я" - неизбѣжность конца, обида "Лазарей,
забытых в черной ямѣ", "всѣх, чья жизнь невозвратима". "Сла-
бому сирому сердцу", обнаженному в своей беззащитности, неот-
куда ждать помощи.

"И стойко должен зуб больной
Перегрызть холодный камень".

Гордость и застѣнчивая нѣжность сердца, чуткаго к оби-
дам и томящагося по яркому горѣнью, роднит Анненскаго с Тют-
чевым. Единственное, что можно сдѣлать, чтобы уберечь сердце
от лишнних уколов - это скрыть его нѣжность, его глубину от
посторонних глаз. И Тютчев заповѣдует в своем *silentium*:

"Молчи, скрывайся и тай
И чувства и мечты свои,"

не только потому, что "мысль изреченная есть ложь", но и по-
тому, что "их заглушит наружный шум, дневные ослѣпят лучи".

Анненскій часто прячет свои чувства под маской ироніи
и в своей Прелюдіи говорит, что бывают мгновенья,

"Когда мучительно душѣ прикосновенье,
И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
Как спичку на вѣтру загородив рукой..."

Тогда нужно остаться в полном одиночествѣ, потому что
даже голос друга становится "как дѣтская скрипка фальшив".
Но в этом одиночествѣ Анненскій не замыкается в себѣ, в
своей только мукѣ; именно через свою боль ощущает он род-
ственность всѣх одиноких, обиженных и обреченных и через
боль переживает свое слияніе с міром.

"И нѣтъ конца, и нѣтъ начала
Тебѣ тоскующее Я".

Безконечность для него это - "миг, дробимый молніей мученья".

И в этом родственен Анненскій Тютчеву, для котораго час
слияннѣ с міром - "час тоски невыразимой; все во мнѣ, и я во
всем".

Не только этой созвучности сердца близок Анненскій
Тютчеву: у них и общая судьба. Оба они при всей подлинности
и глубинѣ дарованія не имѣли широкой славы при жизни, оба
оставили нам небольшое / по количеству / литературное наслѣ-
діе, полноцѣнные алмазные слова, которыя, по словам Фета о Тют-
чевѣ, "томов премногих тяжелѣй". Но у Тютчева было больше
душевнаго здоровья, философскаго спокойствія мысли, углублен-
ности в космическое начало; его любовь к природѣ дает жизне-
радостные тона примиренія его поэзіи. У Анненскаго, современ-
наго горожанина, любящаго срѣзные цвѣты в вазѣ, природа
лишь фон для его переживаній. Основное содержаніе его поэ-
зіи - раскрытіе человѣческаго сердца, гордаго и нѣжнаго, с
его загадкой, мукой и исканіем.

Античная трагедія была близка и дорога Анненскому со-
четаніем в ней чувства ужаса и чувства состраданія. Эти- же
два начала характерны и для его поэзіи. В центрѣ ея стоит
"Я, замученное сознаніем своего одиночества, неизбѣжности кон-
ца и безцѣльнаго существованія" / Книга отраженій /. Неприкос-
новенность всякой личности, всякой вещи, оживляемой поэтом, и
ея обреченность вызывает в нем ужас перед "неизбѣжным кон-

цом" и чисто-русскую любовь - жалость к обреченному "я".
 Несовершенство жизни, ея "не отмоленный грѣх", неразрѣшимость страданія вызывают в нем "муку идеала" и понуждают его к тревожным поискам.

"А я лучей иной звѣзды
 Ищу в сомнѣннѣи и тревожно.
 Я, как настройщик, всѣ лады
 Перебираю осторожно.
 И безотвѣтна, хоть чиста,
 За нотой умирает нота..."

Выход один: в этой жестокой жизни, гдѣ люди и вещи страдают от обид, старѣются и умирают - "покой наш только в муках" и в преображеніи ея в красоту.

"Соціальный инстинкт требует от нас самоотреченія, а совѣсть учит человѣка не уклоняться от страданія, чтобы оно не придавило сосѣда, пав на него двойною тяжестью". /Ин. Анненскій, Вторая книга отраженій/.

И в статьѣ "Умирающій Тургенев" /Первая книга отраженій/ Анненскій говорит:

"Но когда Красота уходит, то послѣ нея остается в воздухѣ тонкій аромат, грудь расширяется и хочется сказать: да стоит жить и даже страдать, если этим покупается возможность думать о Кларѣ Милич" /Красотѣ/.

Красота-музыка оправдывает муку. Творчество оправдывает жизнь.

"Музыкальная побѣда над мукой", преображеніе в творчество, красота - то высшее, к чему стремится поэт

"Не потому, что от Нея свѣтло,
 А потому, что с Ней не надо свѣта".

Раскрыв нам в своей поэзіи томленіе будничнаго дня, отягченнаго "не отмоленным грѣхом", не нашедшаго покоя и примиренія, Анненскій дает нам и ключ к разрѣшенію этого томленія:

"Томится день пережитой,
 Как серафим у Боттичелли,
 Разсыпав локон золотой
 На гриф умолкшей віолончели."

Не потому-ли день томится, что віолончель умолкла? Но когда ея струны зазвучат, томленіе и мука станут музыкой и свѣтом.

Но радуги нѣту побѣднѣи,
 Чѣм радуга конченных мук.

Музыка - самое совершенное и прекрасное, горѣніе и взлет, разрѣшеніе диссонанса, "муки идеала", в гармоническое созвучіе, это то главное в поэзіи, что дѣлает стихотворца поэтом, давая нам услышать за словами тайную мелодію души, которую сами слова могут выразить только приблизительно.
 И печальные трилистники "Кипарисоваго Ларца" среди ко-

торых нѣт ни одного четырехлистика счастья, осуществленія мечты в жизни, а есть только предчувствія, приближенія - для нас уже не "мука идеала", а воплощенная в алмазных словах, преодолѣвшая и побѣдившая, "радуга конченных мук", просвѣтленная музыка - вѣчная, освобождающая, оживляющая сила.

Гельсингфорс.

Вѣра Булич.

Н. Фан-дер-Пальс.

Н.А. РИМСКІЙ-КОРСАКОВ и РУССКАЯ КУЛЬТУРА.

Значеніе Николая Андреевича Римскаго-Корсакова для русской культуры вообще и для русской музыки в частности - великое, плодотворное и многостороннее. Уже болѣе внѣшній обзор дѣятельности этого неутомимаго художника-учителя показывает нам необыкновенную работоспособность его в пользу развитія русскаго музыкальнаго искусства. "Он жил" - по словам Николая Финдейдена, - "не только для себя и славы своего творчества, но и согрѣвал в лучах своего дарованія жизнь других".

По традиціям семьи Римскій-Корсаков, родившійся в мартѣ 1844 года в Тихвинѣ, сначала поступил на военно-морскую службу, хотя музыка уже с дѣтства была его главным жизненным интересом. Послѣ окончанія морского корпуса, служба приводит композитора в кружок дѣятелей, который, под руководством Балакирева и под лозунгом "к новым берегам", стремился к осуществленію національных идеалов в музыкальном искусствѣ, основываясь с одной стороны на произведеніях Глинки и Даргомыжскаго, и вникая, с другой стороны, в пѣсенную, обрядовую и историческую жизнь самого русскаго народа, а также в настроенія русской природы. Этот кружок, извѣстный под названіем "могучая кучка", сдѣлался колыбелью так называемой новой русской школы. Наиболѣе выдающимися членами его были гениальные композиторы Бородин, Мусоргскій и самый плодотворный из них Римскій-Корсаков. Таким образом, Римскій-Корсаков является одним из создателей и наиболѣе значительных представителей русской національной музыки. Однако, как-бы цѣнны и благотворны не были намѣренія кружка новаторов, Римскій-Корсаков, отличавшійся строгой самокритикой, скоро замѣтил и его недостатки. Нетерпимость к традиціи, сомнѣніе и отсутствіе достаточной теоретической и технической подготовки задерживали продуктивность и замедляли работу. И вот мы видим, как Римскій-Корсаков, будучи уже признанным композитором и профессором консерваторіи, с пренебреженіем каких-бы то ни было предразсудков, вмѣстѣ с учениками вновь садится на классную скамью и в теченіе нѣскольких лѣтъ весь погружается в изученіе традиціонных основ композиціи. Из этого в своем родѣ единственнаго в исторіи русской музыки кризиса самокритики и самопознанія Римскій-Корсаков выходит великим мастером своего дѣла, которому удается соединить новыя національныя стремленія с достижениями и дисциплиной западной музыкальной культуры и, благодаря этому, дать молодому русскому искус-